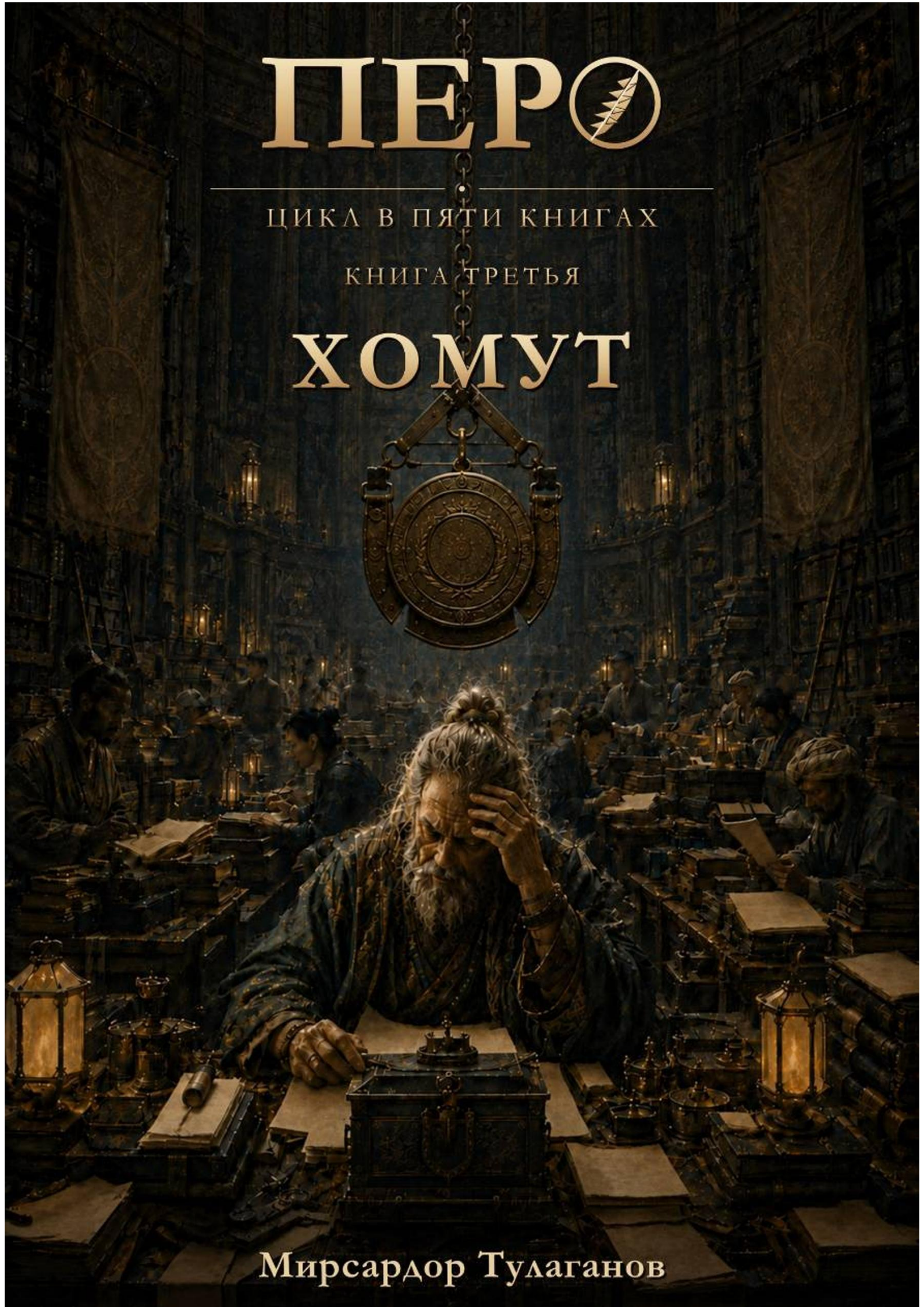
ПЕРО

ЦИКЛ В ПЯТИ КНИГАХ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ХОМУТ



Мирсардор Тулаганов

Мирсардор Тулаганов

Перо. Книга 3. Хомут

«Автор»
2026

Тулаганов М. А.

Перо. Книга 3. Хомут / М. А. Тулаганов — «Автор», 2026

«Перо ломается. Свод горит. Считайте дни, считальщики» – семь слов на клочке грубой бумаги, и вековая машина Чернильного Двора впервые не находит для беды подходящей графы.Вельмар держится не войском и не золотом, а строкой. Кто внесён в книги – тот есть; кого не вписали, того не снимут с плота в половодье и не отпишут после смерти.Большую Печать сорок лет носит на груди старый уставщик Орм Кес – и давно понял, что это не венец, а хомут. Старший писарь Нел Долн верит, что перо – единственная дамба между людьми и кровью. Молодой Герс Крин точит строку так, чтобы дамба треснула в нужном месте и в нужный час.А снизу, с гнилых плотов, поднимается человек, которому перо не нужно вовсе: его самого в книгах нет, и он идёт сжечь их все.Третья книга цикла «Перо» – о цене, которую платит всякий, кто держит чужую жизнь на кончике пера.

© Тулаганов М. А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Принос 5
Глава вторая. Бочар Хольд 13
Глава третья. Похороненная строка 16
Глава четвёртая. Молодой мундир 23
Конец ознакомительного фрагмента. 28

Мирсардор Тулаганов
Перо. Книга 3. Хомут

Глава первая. Принос

«Перо ломается. Свод горит. Считайте дни, считальщики».

Нел Долн входил в Чернильный Двор как человек, который и вправду верует: не разглядывал резьбу, не считал свечей, а сразу шёл к делу. Дело и было его молитвой. Стояло серое вельмарское утро. Вода в среднем рукаве Ирмы поднялась вровень с нижними мостками, пар лез в подвальные окна, и Двор будто дышал рекой снизу. Нел шёл длинным сводчатым ходом мимо приёмных лотков. Медные горла пневмотруб торчали из стены ряд за рядом; каждое время от времени всхлипывало, втягивало воздух и выплёвывало капсулу.

Под низкой притолокой Нел привычно пригнулся, давно уже не глядя. Его обдало сыростью, нагретой жестью и кисловатым духом чернил, за полтораста лет въевшимся в камень. Распрямлялся он уже по ту сторону, на службе. За спиной оставались мокрые мостки, дальний звон досмарской конки, крик сбитенщика; здесь начиналась тишина работы. Кто-то из старых конторщиков подставил под капель со свода глиняную плошку. Вода падала в неё неторопливо — кап, ещё кап, — и, проходя, Нел всякий раз отмечал этот счёт, словно сверял по нему начало дня.

Перед началом дня в сенях случалась короткая давка: люди уже пришли, а работа ещё не развела их по конторкам. Конторщики обивали сапоги, развешивали мокрые кафтаны, вполголоса судили о дровах, отёкшей ноге, новой пошлине на перевоз. Нел повесил плащ на крайний колок, двадцать лет признаваемый за ним без всякого уговора. Когда-то молодой писарь занял его своей шинелью; старый Тевн ничего не сказал, снял её, перевесил и буркнул: «Долнов колок. Не трожь». С тех пор колок не трогали.

Безгласый от рождения сторож Сант кивнул из будки одними бровями. Поговаривали, потому его сюда и взяли: не разнесёт услышанного. Нел ответил кивком.

У будки подёнщик, нанятый подметать сени и таскать корзины с отработанной бумагой, совал Санту писульку. Толковал громко, по слогам, будто сторож был глух, а не нем, и тыкал грязным пальцем в одну строку. Сант посмотрел на лист, потом на подёнщика; лицо его не изменилось. Подёнщик сунул бумагу ближе. Сант дважды медленно покачал головой и отвёл его руку — без грубости, но так, что спорить было не о чем: наверх не понесу. Подёнщик спрятал писульку за пазуху и ушёл, бормоча. Нел видел это краем глаза и не остановился. Здесь всякий день кто-нибудь подавал бумагу, которую не брали.

Капсулы падали с сухим костяным стуком, который Нел слышал даже во сне. Кость о жесть. В каждой лежали чей-то страх, оговор, ночная злоба, свёрнутая в трубочку и оплаченная скидкой с собственной строки. Он не любил этот звук за то, что приносилось вместе с ним, и всё же ждал его. Ударившись о лоток, злоба переставала быть ночной и становилась делом: её можно было выверить по книге, дать ей ход или придержать. Кто-то должен был стоять у сита и смотреть, что осталось в ячее.

Эта мысль держала Нела всякое утро, как поручень на скользком настиле. Город слал во Двор свою муть из Гнилых Слобод, Хеммара, верхнего Досмара — по трубам, через рассыльных, приносом. Всюду человек завидовал человеку, и всюду у зависти находилась монета. Двор отделял то, чему давать ход, от того, что следовало придержать. Сито могло прогнить; местами уже прогнило, Нел это знал. Но, пока оно держалось, держался и порядок.

Конторщики уже сидели по местам и кивали Нелу — головой, глазами поверх очков, движением пера. Газ был только в главной и уставной палатах; прочие работали при сальных

огарках. Чад мешался с речным паром в тяжёлый наживной воздух, которого Нел за двадцать лет перестал замечать.

Толстый, одышливый старший приёмной Санр Долт, прозванный Прыщом за давнюю бородавку у носа, читал разнарядку, держа лист на отлёте: вблизи глаза уже не брали мелкого. Кому принос, кому выверка, кому неподписные, кому подвал и ветхие шнуры. Читал лениво, нараспев; слушали вполуха, всякий и так знал своё место. Нелу достался приносный реестр — как всякий день. Прыщ даже не поднял на него глаз: Долн всегда на выверке.

— Крин — на неподписные, — дочитал Прыщ и опустил лист. — Крин! Слышишь? На неподписные тебя.

— Слышу, — отозвался от своей конторки Герс Крин, не подняв головы. — Опять мне мёртвую папку перетряхивать. То-то радости.

— Не велено радоваться. Велено перетряхивать, — Прыщ свернул лист. — Указ был: разобрать накопленное, что без счёта, да списать в глухой архив, чтоб не пухло. Третий год не разбирали. Вот и сиди.

Герс буркнул что-то о мёртвой бумаге, с которой ни приноса, ни услуги, одна пыль. Нел отметил это и пошёл к себе.

Старый Тевн брал принос. Проситель в мокром кафтане мял перед ним шапку. Тевн делал привычное не спеша: придвинул медный лоточек и только после тихого звяка обмакнул перо. Монета была мелкая, из тех, что копят по одной и отдают разом за строку. На неё он лишь покосился: сумму уже знал по весу звука. Лоточек подвинул локтем, прикрыл рукавом — не таясь, а по привычке прикрывать нажитое. Проситель переступил, и под ним хлюпнула натёкшая с кафтана вода.

— Стой, не капай на лист, — сказал Тевн не зло, скорее устало. — Отступи на шаг. Ну. Имя как?

— Хольд, — сказал проситель. — Хольд, бочар, со Слобод. По недоимке я. Третий год она на мне, а я её…

— Имя, год, квартал. Прочее не нужно, — Тевн обмакнул перо. — Хольд. Бочар. Слободы.

Нел не отворачивался. Принос был гнилью, но служба научила его различать цену гнили: лиши Тевна лоточка — тот не станет честнее, только голоднее, а голодный конторщик берёт уже не медью, а строкой. Проситель в мокром кафтане заплатит годами Хеммара. Сам Нел не брал — не из гордости, а из расчёта другого рода. Он считал, что хотя бы одна чистая ячея не даёт ситу прогнить насквозь, и потому всякое утро начинал с собственной руки.

Тевн поднял на него глаза и тут же опустил, будто Нелов взгляд жёг щёку. Они об этом не говорили: Тевн знал, что Нел не берёт, Нел знал, что тот знает. Между ними стояла негромкая неловкость двух старых служак под одной крышей. Однажды на крестинах Тевн, выпив, сказал: «Тебе хорошо, Долн. Жена не хворая, детей Бог не дал. А мне дочь кормить да зятя-пьяницу. Я бы тоже чист ходил, если б было чем». Нел тогда промолчал. Тевнова правда объясняла гниль и делала её человеческой, но не вычищала.

Бочар Хольд выправил свою строку, но не ушёл сразу. Он постоял у конторки, прижимая свёрнутый лист к груди обеими руками, и спросил тихо, будто стыдясь:

— А если, господин писарь, недоимку-то теперь… вполовину скостили, говорят? По милости новой? Слух был.

— Слух был, — не глядя сказал Тевн, посыпая строку песком. — А указа не было. Будет указ — придёшь снова, перепишем. С новой строки. С новой монеты.

— С новой монеты, — повторил Хольд. Потоптался, поглядел мимо Тевна на медные горла труб и ушёл, прижимая лист к груди. Нел проводил его глазами: милость ещё не дописали, а лоточек под неё уже стоял.

За своей конторкой Нел поставил на место склянку с казёнными чернилами, протёр суконкой стальное перо в гранёной оправе, выровнял стопу буро-серых листов. Бумага была дешёвой и рыхлой: перо шло по ней с сопротивлением, цеплялось за волокно и ставило кляксу там, где оно вставало дыбом. Нел знал её до последней шероховатости — под каким углом вести остриё, сколько дать песка, куда положить сгиб, чтобы край не лохматился. Двадцать лет одной и той же бумаги научили руку прежде глаза.

За частым переплётом окна светало без солнца, низко, по-вельмарски. Нел обмакнул перо и взялся за приносный реестр. Молодые вроде Герса Крина такую работу спешили сбыть; Нел проверял каждую запятую. За иной запятой человек оставался над водой.

Реестр был обыкновенный: кто внёс, сколько, за что, какая пометка. Нел вёл пальцем по столбцу и сверял суммы. Здесь писарь поставил «семь», хотя по приходу выходило «девять»; две единицы обернулись бы кому-то чужим долгом и повесткой. Нел выправил цифру, присыпал песком, перечёл ещё раз.

К середине утра к нему подсел молодой конторщик — Кропаль, из тех, что приставлены недавно и ещё спрашивают, вместо того чтобы делать, как заведено. Он принёс свой лист и ткнул пальцем в строку.

— Господин Долн, тут вот не сходится. По приходной книге внесено за вдову Раслу восемь, а в реестре стоит шесть. И пометка чужая. Я хотел шесть оставить, как в реестре, да усомнился.

— Не оставляй. Гляди приход: он корень, реестр — ветка. Внесено восемь — пиши восемь. Два ей по дороге списали, а чужой пометкой прикрыли.

— А как звать того, кто списал? — Кропаль округлил глаза. — Доносить надо?

— Доносить не будем. Выправим — и вдова получит своё. — Нел твёрдой рукой свёл шесть на восемь и вернул лист. — Правь корень. Малых описок нет: есть выправленная и прогляденная.

Кропаль ушёл, всё ещё поглядывая на чужую пометку, но выправил, как велено. Нел проследил, чтобы тот сверил сумму ещё раз. Во Дворе молодой быстро приучался либо проверять строку, либо доносить на руку; второе давалось легче.

Капсулы падали. Босой рассыльный Шныр собирал их в кожаную суму и разносил по конторкам: донос на недоимщика, оговор на соседа, жалобу на жалобу. Тощий, лет двенадцати, он всё примечал цепкими тёмными глазами и ничего ими не выдавал. На согнутой щепке была натянута самодельная струна в одну фальшивую ноту. У каждого лотка Шныр трогал её ногтем; конторщики давно перестали слышать звон, как перестают слышать постоянную капель. Нелу казалось, мальчишка не забавляется, а отмечает ход: звук здесь, звук там — и по нему самому видно, где уже побывал. Положив капсулы на край конторки, Шныр не заглядывал человеку в лицо.

— Шесть тебе, господин Долн, — сказал он, ссыпая капсулы. — Одна тяжёлая. Скрипит чем-то.

И пошёл. И звякнул струной у соседней конторки.

Нел развинчивал капсулы и читал. По буквам было видно, где дрожала рука доносителя, где перо задержалось перед именем. Перед ним лежала свёрнутая беда, и от его проверки зависело, дать ей ход или придержать. Он сверял имя, год, квартал, прежний долг — всякую опору, за которую строку можно было удержать от неправды. Для Нела это и была совесть: не чувство, которое легко пожалеть в себе, а повторная выверка по приходной книге.

Первая капсула — донос на соседа, будто тот прячет в подполе непрописанного брата, беглого с Хеммара. Нел отложил её к выверке: сперва проверить, существовал ли брат, числился ли в каторжном реестре и когда выбыл. Донос из ревности писался теми же словами, что донос из правды. Вторая — жалоба вдовы на писаря, который взял принос, а строки не дал. Эта легла отдельно, под костяную тяжесть, чтобы не затерялась. Писарь, вероятно, отопрётся, но

жалобу следовало провести по форме до конца: номер, свидетель, встречная выписка. Остальные были обычной мутью — оговор, придирка, мелкая злоба за медь.

Так шло утро. Пар лез в окна, перья скрипели, лоточки звякали приносом, кость стучала о жесть.

В полдень ударил ближний колокол. Кто развернул хлеб, кто достал луковицу, кто со стоном разогнул спину. Старшие конторщики сошлись у остывшей печи и по привычке держали ладони над холодным железом. Нел подсел к ним со своим хлебом.

Сверху просочились новости: в Хеммаре на последнем смотре недосчитались каторжных и теперь искали, кого вписать в недостачу; указ о милости, обещавший вдвое скостить недоимки, всё переписывали, потому что казне выходил убыток.

— А правда ли, — встрял молодой Кропаль, — будто на дне совсем уж лютуют? Будто конторская печать у них там пропала, в Слободах, и кто-то её…

— Цыц, — мягко осадил его Перевязь. Осадил не сердито, а как осаживают того, кто по молодости лезет туда, куда старшие не лезут не от незнания, а от знания. — Что на дне, то на дне. Наше дело — лист. Чего в лист не вписано, того и нет.

Нел слушал, и слухи о печати, дне, недостаче сходились в смутную тревогу, будто по дрожи мостков шёл ещё невидимый речной вал. Где-то ниже палат и лотков что-то сдвинулось, но ещё не получило ни имени, ни числа. Он проверил себя, как проверял сомнительную сумму: слухи ходили всегда, дно всегда шумело, Двор стоял полтораста лет. Оснований давать тревоге ход пока не было. Нел доел хлеб, ссыпал крошки голубям на мокрый карниз и вернулся к реестру.

А потом в его лоток упала капсула, в которой Нел не сразу понял, что не так.

Это была та, которую Шныр назвал тяжёлой. Нел оставил её напоследок: рука сперва взяла лёгкие. Внутри бумага не шуршала, а туго скрипела, словно её набили силой.

Капсула была обычной — медной, гладкой, в палец длиной, — но легла в ладонь плотнее прочих. Вместо свитка в ней оказался грубо сложенный вчетверо клочок. Ни приметы доносителя, ни строки с долгом, ни скидочной пометки — ничего, чем донос платил за себя. Без подписи. Без счёта.

Нел повертел капсулу, заглянул в медную пустоту и поскрёб ногтем донце: ни царапины, ни пометки, по которой можно определить трубу или лоток. Все городские отводы сходились в общий приёмник, а оттуда расходились по конторкам; пущенная снизу гильза входила в общий ток и теряла след. Так было заведено нарочно, чтобы доноситель не боялся розыска и слал смелее. Теперь тот же порядок укрыл человека, который не донёс ни на кого.

Нел развернул клочок.

Буквы стояли криво, не по линейке, с неровным нажимом: перо то едва касалось листа, то продирало его насквозь. Чернила не казённые — бурые, жидкие, должно быть сажа с водой, разведённая сверх меры. Бумага тоже не дворовая: грубая, толстая, с соломиной в самой толще. Нел отметил это одним взглядом, как человек, двадцать лет разбиравший чужие руки. Писано снизу, где казённой чернильницы не водилось и бумагу берегли даже для долгов.

И не было в этих буквах ни просьбы, ни оговора, ни имени. Сказано было так, что Нел перечёл трижды, и трижды слова не делались меньше:

«Перо ломается. Свод горит. Считайте дни, считальщики».

Сперва Нел не испугался — лишь не нашёл графы, и это озадачило его сильнее дурного содержания. Всякая беда имела своё место: недоимка, оговор, жалоба, тяжба, прошение. Графа держала её, как русло воду, и позволяла проверить берега. Эту строку нельзя было выверить, потому что в ней не было имени и дела; нельзя дать ей ход, потому что некуда; нельзя придержать — она уже сказана. Писавший не просил внести его, не торговался пеней, не грозил ближнему. Он вынес за пределы графы сам Свод.

Нел оглянулся — невольно, коротко, как оглядывается тот, кто услышал за спиной шаг, которого не должно быть. Двор жил по-прежнему. Тевн выписывал бочару Хольду строку. За дальней конторкой кто-то чихнул и помянул нечистого. Шныр звякнул струной у самого приёмника. Никто не смотрел на Нела. Никто не знал, что у него в руке. И от этого, потому, что Двор жил, ничего не зная, страх и пришёл — не сразу, но пришёл.

Страх поднялся медленно, как вода по нижней свае. За тонкой строкой Нел увидел приходные книги с именами младенцев, долговые реестры, спасательные ведомости, по которым в разлив снимали людей с плотов. Эти книги были скучными, прошнурованными, испачканными приносом, но между человеком и половодьем часто не стояло ничего другого. Внесённого снимут; не внесённого вода возьмёт без разбора. И вот некто сказал: сожгу. Он не просил ни монеты, ни строки, ни скидки; его нельзя было вписать, купить или задержать встречной услугой.

Нел положил клочок на сукно. Тихий, отдельный от прочих мыслей голос, который он за двадцать лет научился пересиживать, сказал: а ведь правда. Нел не спорил; подождал, чтобы голос ушёл.

Голос не уходил. Тевн берёт принос. Вдова остаётся без строки. Бочар платит за своё право, а не наскребёт меди — получит Хеммар. Ты знаешь, что сито гниёт, Нел, и всё же правишь ячеи по одной.

Тогда память подала вдову Раслу — не нынешнюю, другую; в Слободах многие носили это имя по мужьям. Её муж утонул в позапрошлый разлив. Людей снимали с плотов по ведомости, а писарь вывел «Расл» вместо «Расла». По книге такого человека не оказалось, и спасательный плот его не ждал. Нел сам выверял ведомость — после, когда живых уже сняли, а мёртвых сочли. Нашёл одну неверную букву и выправил её мёртвому, тщательно, без помарки. Вдова пришла во Двор. Не кричала, только стояла у конторки и спрашивала: «За букву ли? За одну букву?» Нел отвечал ей, что описка именно потому не бывает малой, что каждую надо выверять; что перо хрупко, но не должно ломаться. Говоря, он сам слышал, как тонко звучит это против мёртвого мужа. Теперь те же слова пришли снизу в другом порядке.

Нел отогнал и это. Отогнал, но оно оставило след — как оставляет след на рыхлой бумаге даже стёртое слово.

Нел встал не дрожа, но так, будто под ним качнулся плот. Клочок взял двумя пальцами, на отлёте, опасаясь уже не грязи, а того, что слова протекут в руку. Мимо прошёл Герс Крин — молодой, гладкий, в новом мундире с костяными пуговицами. Глянул сперва на бумагу, затем на Нелово лицо и усмехнулся:

— Что, Долн, опять кто-то грозится спалить нас всех к нечистому? Третий за месяц. Брось в неподписные да забудь. Лаются — значит, боятся.

— Третий? — переспросил Нел. — Были ещё?

— Один был, безымянный, про огонь и дни. Я кинул в неподписные. Подписи нет — счёта нет; без счёта какое дело? Тебя тому же уставу учили. — Герс понизил голос, будто предлагал Нелу выгодную цену. — Кто жжёт, тот на бумагу не тратится. Этот пишет, посылает, ждёт. Значит, хочет, чтобы мы дёрнулись бесплатно. Не дождётся.

— А где они теперь? — спросил Нел. — Те, прежние. В неподписных?

— В мёртвой папке. Меня нынче как раз посадили перетряхнуть неподписное за три года и списать в глухой архив. Полдня чихаю, выгоды никакой. Хочешь — сам полюбуйся, сколько туда огня накидали. Грозятся многие, жжёт никто. Найду твоего собрата — положу рядом. Будете считать дни вдвоём, казённого времени не занимая.

Герс ушёл к своей конторке, где всякую строку прежде всего мерил пользой. Он оценил клочок по затратам: подписи нет, прихода нет, исполнение ничего не сулит — пустое. Нел снова прочёл семь слов и проверил их в том же порядке, как проверял сумму. Ни просьбы, ни цены, за которую просьбу можно принять, в них не было.

Герс бросил один клочок и, может быть, не один. Сколько их уже лежало в мёртвой папке — без подписи, без счёта, под спудом, — пока кто-то снизу считал дни? Нел перебрал возможное: две записки за месяц, пяток за год, три года неразобранного. Числа не было, а потому не было и дела. Двор задерживал то, для чего имелась графа; эти послания проходили сквозь сито именно потому, что были направлены против него самого.

Клочок следовало нести старшему, уставщику Орму Кесу. Нел уже поднялся в ту сторону, но свернул в каморку неподписных при уставной палате: сперва нужно было проверить Герсовы слова. Дверь стояла открытой; от папок тянуло застарелой пылью бумаги, которой не касались годами. Герс, повязав нос платком, сидел среди раскрытых папок, перебирал клочки через один и откидывал разобранное в корзину. Увидев Нела, он стащил платок:

— Скоро ты. Соскучился по огоньку?

— Дай гляну, — сказал Нел. — Те, про дни.

Герс махнул над папками: ройся, мне же меньше работы. Нел опустился на колено и стал перебирать. Под пальцами шли безымянные доносы, трусливые оговоры, бредни, пьяные угрозы — каждый в своём почерке и своей беде. Верхние листы были свежими, белыми, легко ломались по сгибу; нижние слежались и слиплись краями. Нел разнимал их осторожно, чтобы не потерять ни крошки написанного. Старая бумага у самой воды почему-то не сгнила, а высохла и задубела. В тёмной каморке годами копился ворох ломкой растопки, где каждый клочок когда-то был чьим-то криком.

И на третьей папке он нашёл.

Клочок. Та же грубая бумага с соломиной. Те же бурые, разведённые сверх меры чернила. Тот же неровный нажим — то едва касается, то рвёт лист. И слова:

«Свод горит. Перо ломается. Слышите, считальщики? Дни сочтены».

Слова различались, рука была та же: одинаковый наклон, одинаково рваная нижняя петля. На старом клочке нажим дрожал сильнее, на новом шёл увереннее, словно писавший от послания к посланию учился собственной угрозе. Нел нашёл третий: «Считайте, пока считается». Бумага была суше прочих и треснула по сгибу, едва он развернул её. На четвёртом стояло три слова: «Скоро. Скоро. Скоро». Между ними оставлены равные промежутки, будто дни уже отмерили.

— Сколько их тут? — спросил Нел, не оборачиваясь. — Этих. С одной руки.

— Почём знаю. Я разбираю по счёту, не по рукам. Нет счёта — в корзину. Может, пяток, может, больше. За три года целая папка. — Герс покосился на него. — Ты чего побледнел? Бумага.

Нел сложил найденные клочки ровно, один к одному, как складывал казённые листы, и поднялся. Колено хрустнуло тем же сухим треском, что бумага. Теперь порядок проступал: послания шли годами, нажим становился увереннее, слова короче. Их раз за разом бросали в мёртвую папку, а писавший не исчезал и продолжал считать. Двор не сосчитал его, поэтому он завёл собственный счёт.

— Я возьму, — сказал Нел.

— Бери. Мне меньше списывать. Только впиши вынос: без счёта не уноси, а то сам попадёшь в неподписные. — Герс повязал платок и снова склонился к папкам.

Нел вписал в выносную книгу: столько-то листов, без счёта, взято Долном для уставной палаты. Поставил число. И понёс — теперь уже целую пачку — Орму Кесу.

До Кеса было две палаты, но Нел шёл их медленно. Клочки нёс на раскрытой ладони, прикрыв другой от сквозняка, как выносят малый огонь. Тут же проверял себя: бережёт ли он эти слова или только не даёт улике рассыпаться до старшего. Конторщики поднимали головы. Старик Перевязь окликнул: «Что несёшь, Долн, словно причастие?» Нел не ответил. Перевязь увидел его лицо, умолк и опустил глаза к своей строке.

Орм Кес сидел в дальней палате у окна. Перед ним на сукне лежал тяжёлый, потёртый по углам кожаный чехол, которого старик не выпускал из рук ни на службе, ни, говорили, во сне. Обе ладони покоились на нём. Когда Нел вошёл, Кес не поднял глаз сразу: дописал строку, обмакнул перо ещё раз, поставил точку, проверил, не расплылся ли нажим, и лишь тогда поднял тяжёлые веки.

Один из двух дворовых газовых рожков горел здесь вполнакала, тихо шипя синим венцом. При этом свете лицо Кеса с глубокими бороздами казалось высеченным из серого камня, будто старик врос в палату вместе с притолокой и сводом. Пахло иначе, чем внизу: меньше салом, больше старой кожей, сургучом и сухой пылью давно не открывавшихся книг. Прошнурованные тома с висячими печатями теснились вдоль стен, корешок к корешку. Их молчание Нел невольно сравнил с Сантом в будке: знали, но не говорили.

— Господин уставщик, — сказал Нел, и голос его, к стыду, дрогнул. — Пришло. В мой лоток. Без подписи. — Он помолчал и положил всю пачку. — И ещё. Крин разбирал неподписные. Я нашёл там прежние. С той же руки. За три года. Их никто не считал.

Он положил клочки на сукно, поодаль от чехла, будто боясь, что одно коснётся другого. Положил веером, как раскладывают улики, чтобы виден был каждый, — свой, верхний, и под ним прежние, год за годом, рука к руке.

Орм читал дольше, чем требовали короткие строки. Клочки не перебирал и не сличал — смотрел на весь веер разом, как на знакомое, в чём нужно только убедиться. Ладонь на чехле дрогнула и двинулась к верхнему листку. Не оттолкнуть — тронуть, узнать на ощупь; Нел уловил направление, но не смысл. На полпути рука остановилась и вернулась на потёртую кожу. Нел принял это за брезгливость старшего к низовой грязи и опустил глаза, чтобы не вынуждать Орма объяснять движение.

Нел ждал распоряжения: «пустое», «разберёмся», любого слова, которое сделает беду делом и укажет ей место. Старший должен был взять её из младших рук, присвоить номер, приказать искать или забыть. Над Кесом стоял Двор, над Двором — уклад, переживший мятежи и вольные годы. Достаточно было одного сухого распоряжения, чтобы эта цепь снова натянулась.

Но Орм Кес не сказал ничего.

Старые глаза прошли по строке раз, другой, третий — тем же путём, каким только что шли Неловы. Но не поднялись с вопросом и не сузились в гневе. Веки тяжело опустились. Орм сидел так долго, почти закрыв глаза; затем придвинул ладонь к кожаному чехлу. Не схватил, не проверил завязку — просто накрыл его, как больное место, которого коснулись чужие.

В тишине из дальней палаты доносилось: кость о жесть — капсула, другая. Газовый рожок шипел. Где-то вода падала в плошку — кап, ещё кап.

До сих пор Нел верил: у старшего для всякой беды найдётся графа, а попавшее в графу становится хотя бы измеримым. Где-то над ходами, лотками и приносом должна была сидеть твёрдая рука, пока державшая воду. Нел принёс клочок самой твёрдой руке, какую знал, а она не распорядилась — только легла на чехол и осталась там.

— Господин уставщик, — сказал Нел тише, — Крин говорит, такой же приходил не раз. Он бросал их в неподписные. И до него, видно, бросали. — Он сглотнул. — Сколько их там? Если они идут — надо ведь их считать. Если кто-то снизу шлёт раз за разом одно и то же, год за годом…

Орм поднял глаза, и Нел осёкся: старик не удивился ни прежним клочкам, ни мёртвой папке, ни тому, что посланий набралось на веер. Он знал. Возможно, считал их сам — дольше, чем Нел служил и чем Герс носил костяные пуговицы. Но это знание не давало ему готового решения; только прибавляло возраста лицу.

— Считать, — повторил старик, и в голосе его не было ни вопроса, ни насмешки, одна тяжесть. — Да. Их считают. — Он помолчал. — И там.

Где «там», он не сказал. Нел не спросил.

Старик опустил глаза к вееру клочков, и палец его, сухой, в коричневых пятнах, тронул один из нижних — самый ветхий, самый давний, обтрёпанный по краю — и подвинул его на волос, не поднимая, будто узнал именно этот и хотел убедиться, что не обознался.

— Этот первый. Я помню день, — сказал Орм будто себе, подвинув ветхий клочок на волос. Больше не прибавил. Нел не спросил, какой день мог сохраниться в памяти наравне с почерком. Но понял: старик считал не только послания — годы между ними, сроки, повторения — и делал это давно, в одиночку.

Орм поднял веки до конца. Сухое спокойствие его глаз пугало Нела больше крика: крик означал бы, что весть новая и на неё ещё можно ответить. Старик не разбирал кривые слова, а узнавал их, как почерк, который видел прежде и ожидал снова. В этой узнающей усталости не было готового выхода.

— Господин уставщик, — не выдержал Нел, и голос его упал почти до шёпота, — что ж это? Кто пишет? Вы знаете руку?

Старик ответил не сразу и не до конца:

— Руку узнать недолго. Труднее — чья она теперь. Иная сама не помнит, какой была. — Пальцы Орма шевельнулись на чехле и замерли в старой вмятине кожи. Он посмотрел на Нела почти с жалостью, как на человека, которому пока можно не отдавать весь вес знания. — Ты, Нел, молод ещё. Ступай.

— Ступай, Нел, — повторил старик, помолчав. — Ступай, веди строки. Я подержу.

Вторую ладонь Орм положил поверх клочков, укрыв их от сквозняка. Одна рука лежала на чехле с Большой Печатью, другая — на кривых словах, грозивших Печать сжечь. Нажим был одинаково ровным, и Нел не смог понять, которую вещь старик бережёт, а которую удерживает.

Нел пошёл назад сводчатым ходом. Медные горла всхлипывали и плевались капсулами; у конторок скрипели перья, Тевн прикрывал рукавом лоточек. Из каморки неподписных доносился Герсов чих, и чужой огонь без счёта летел в корзину. Шныр звякнул струной у приёмника и проводил Нела тёмным взглядом, ничего не спросив. Всё было как утром: Двор дышал снизу речным паром, кость стучала о жесть. Бочар Хольд давно ушёл со свёрнутой строкой за пазухой и с пустым местом там, где лежала медь. У будки Сант кивнул Нелу бровями.

Сант смотрел непривычно пристально. Поднял руку и медленно провёл ребром ладони по гладкой коже своего горла, там, где у других был бы кадык. Нел решил, что сторож показывает старое увечье, и уже шагнул дальше, но тот мотнул головой: не то. Повторил яснее — ладонь поперёк шеи, как нож; два пальца к собственным глазам; затем указал за Нелову спину, к дальней палате, и снова провёл по горлу. Замер, проверяя, прочитан ли жест. Нел перевёл его про себя, как трудную строку: смотрел, видел — и за увиденное режут. Чьё горло и кто станет резать, он не позволил себе доспросить. Сант ещё миг держал руку поднятой, потом опустил. В безгласном лице осталось выражение человека, который сказал всё доступное ему и не был услышан до конца. Нел кивнул и пошёл, унося жест как письмо, которое вскрыл, но не дочитал.

Спиной Нел чувствовал дальнюю палату и две ладони Орма — на чехле и на кривых словах. Впервые за службу он не мог определить, что последует дальше и в какую книгу это будет внесено. Он вернулся к реестру, выровнял сбившуюся стопу и до вечера вёл строки чище обычного. Каждую сумму пересчитал дважды, каждую запятую проверил ногтем, словно от точности его руки зависело, останется ли у Двора хоть одна целая ячея.

Глава вторая. Бочар Хольд

Бочар знал дерево, как иной знает свою бабу: где подастся, где станет колом, где, рассохшись, выдохнет в лицо застойной водой, которую копило с весны. Дуб гнут, пока он горяч от пара; остынет — и уже не ты гнёшь его, а он тебя ломает. Хольд правил клёпку шестьдесят лет, с того лета, когда отец впервые поставил его к остову уже не подмастерьем, а руками. Ирма шестьдесят раз поднималась и опадала, а ладони помнили каждую жилу дуба. Голова забывала. Руки — нет.

Кадку он нёс не на продажу. Кадку он нёс за то, что она уже была его.

Так вышло по бумаге. Буквы Хольд понимал как птичий след на иле: видно, что кто-то прошёл, а кто и куда — знают грамотные. Тевн растолковывал ему не раз, на пальцах, потому что бочар сперва не поверил. За лавку на углу Мокрого спуска, стоявшую там с дедовых времён, теперь положена пошлина. Не с продажи и не с прибыли — за то, что лавка стоит и числится. Новый принос в Свод велел всякому ремеслу, кормящемуся у воды, платить за место у воды. Вода казённая, место казённое; Хольдовы руки, выходило, тоже не вполне его.

— Платят кадкой? — спросил он тогда Тевна.

— Платят, чем велено. Тебе велено первой работой по новому реестру. Чтоб видели, что записан.

Он нёс первую работу по реестру — лучшую, потому что мастер не отдаёт дрянь даже тому, кто разницы не заметит. Морёный дуб, сухая клёпка, кованые обручи вместо вязовых: такая кадка держала рассол двадцать лет, не пустив ни слезы. За неё можно было получить хорошую медь и две недели выбирать следующую древесину без спешки. Хольд придерживал кадку на плече снизу, как спящего ребёнка, чтобы не толкнуть о стену, и шёл с Мокрого спуска к Чернильному Двору. Вес тянул его обратно вниз, к воде, откуда пришло дерево.

Во дворе было людно и тихо той особой тишиной, которая держится при множестве людей: шарканье, кашель, сорванный полушёпот. Громко здесь разучались говорить за одно посещение. Хольд встал в хвост, поставил кадку у ноги и снял шапку. Никто не велел. Руки сами решили, что здесь церковь, только бог сидит за решёткой и пишет.

Тевн переминался рядом, представляя Хольда перед строкой. Сам бочар был при ней только телом. Тевн был не злой, а тёртый. Он шепнул:

— Как позовут — кадку вперёд себя. Кланяйся остову, не им. На них не гляди. И медь держи отдельно, в кулаке, не в кадке.

— Какую медь? Я ж кадкой плачу.

Тевн посмотрел на него так, как смотрят на человека, которому сейчас скажут то, чего он не хотел бы знать, да поздно.

— Кадка — это принос. Знак, что записан. А пошлина-то отдельно. Принос — это что ты пришёл. Пошлина — что тебя приняли. За приём своя медь.

В голове Хольда со скрипом, как разбухшая дверь, повернулось понимание: лучшей работой он платит за право заплатить. Кадка была не пошлиной, а знаком, что его внесли в список тех, с кого берут. Потом отдельно возьмут медь. Сперва трудом — чтобы числиться, затем монетой — чтобы числиться принятым. Он стоял под этой мыслью, как под начавшимся дождём: ещё не вымок, но уже знал, что вымокнет.

Очередь убывала медленно. Хольд смотрел не на дверь, а на руки: лица умели молчать, руки — нет. Обычно они различались по ремеслу; здесь стали одной породы — держали узелки, бумажки, краюхи, медяки и ждали. Под гончарными ногтями въелась глина, ладони конопатчика были в смоляных трещинах, у бабы с корзиной мокрого белья кожа выстиралась до прозрачности. Каждая пара ещё помнила своё дело, но сейчас все делали одно: несли лучшее, чтобы заплатить за стояние и дыхание у воды.

Слова для того, что делалось с ними, Хольд не знал. Но по волокну узнавал кадку, которая даст течь ещё до первой капли: клёпка садится не так, обруч берёт косо, дерево начинает спорить с водой. Здесь волокно шло скверно, весь остов был собран против воды. Потечёт не сразу — и зальёт не тех, кто собирал.

Позвали не по имени. Тевн назвал двор, угол, ремесло и лишь под конец — Хольда, как называют последним то, что несут: кадушный, по новому реестру, первой работой. Бочар поднял кадку вперёд себя и понёс к окну.

За низкой решёткой сидел не строгий неподкупный выверщик, которого Хольд боялся увидеть, а мелкий приёмный держатель из тех, что сидят с краю и принимают муть. Лицо у него было обыкновенное, чуть скучающее — лицо человека на третьей сотне посетителей. Он глянул на Хольдову лучшую кадку без любви и презрения, как на двадцать пятую за день. Для него она уже была не вещью, а пустым местом в строке.

— Ставь, — сказал держатель.

Хольд поставил бережно. Держатель не заметил. Обмакнул перо и записал: «принесено». В это слово ушли дуб, пар, кованые обручи и шестьдесят лет.

— Пошлина, — сказал держатель, не поднимая глаз.

Хольд разжал кулак. Медь нагрелась до тепла тела, отпотела в горсти. Держатель смёл её в ящик, не глядя: сумму он знал по звуку. Монета брякнула о чужую медь и остыла в общей куче.

Это была не последняя его медь по бедности — он ещё наработает, — а последняя, которую считал сам. До этой монеты Хольд знал: столько труда, столько дуба, столько дней. За ней начиналась земля чужого счёта, где считали уже самого бочара. В списке стоял Хольд, но ни список, ни мера в нём ему не принадлежали.

— Иди, — сказал держатель. И, уже к Тевну, к следующему: — Кто там.

И всё: шестьдесят лет, лучшая кадка, тёплая медь — и «иди». Хольд не ждал благодарности. Ждал хотя бы, что собранную против него бочку при нём пристукнут обручем. Её оставили дышать.

Заплатившие текли вниз тем же спуском, каким поднялись: вода брала своё, отдавший возвращался к воде. Хольд дошёл до поворота и сам не понял, почему свернул к плотам, где Ирма держала на привязи пригнанный сверху лес. Руки повели. Связанные брёвна тёрлись друг о друга с низким утробным звуком, который он знал лучше колокола: так дышит мокрое дерево, так стонет свая, когда вода качает её, не отпуская и не топя.

Хольд сел на причальный брус. Плечо ныло пустотой, отыскивая исчезнувший вес кадки. Он смотрел в рябую, медленную спину Ирмы и думал руками.

И тут он его и приметил.

Под настилом, где плот заходил под мостки и даже днём стояла темнота, сидел на корточках малый. Не вор: вор слушает спиной, а этот не слушал — заслонял то, над чем горбился, как огонёк от ветра. По виду младший конторщик из тех, кого держат за мелкое и долгое письмо: чернильные пальцы, обкусанный воротник, спина уже выгнута строкой. Писал он не пером, а угольным обломком из печки, на рыхлых оборотах списанного. Закончив клочок, не прятал его, а совал между брёвнами в воду, которая подхватывала и несла.

Хольд сидел тихо, как сидят над склеенным остовом, пока тот не схватился. Слов он не понимал — для него буквы оставались птичьим следом, — но руки понимал. У малого они работали с яростной бережностью, какой нет в ремесле за плату: так делают то, за что бьют. Между клочками пальцы замирали и слушали мостки. Написанное малый спускал воде, потому что на берегу его могли найти.

Один клочок зацепился за брус под Хольдовой ногой, набух и встал ребром. Бочар медленно поднял его. Уголь расплылся, но несколько чёрных птичьих следов ещё держались. Куда вела птица, Хольд не знал.

Малый вскинулся. Увидел старика, увидел клок в чёрных бугристых пальцах бочара. Лицо у малого сделалось то самое, какое Хольд знал по дворам и по себе: лицо застигнутого, готового к удару. Не за то, что украл. За то, что его увидели.

Хольд подержал клочок в чёрных бугристых пальцах, глянул на малого, на расплывшийся уголь, на воду. Не отдал и не оставил уликой. Медленно нагнулся и сам пустил бумагу в щель между брёвнами, к остальным. Не из доброты к чужому конторщику — такой доброты он в себе не нашёл бы. Просто руки знали: то, чего не должны найти на берегу, отдают воде, и вода уносит без счёта.

Малый не поклонился — поклон здесь был бы лишним движением и выдал бы обоих. Только опустил глаза к углю и снова взялся за него.

Хольд пошёл назад, растирая пустое плечо. Под мостками малый снова писал и спускал клочки: по одному, в темноту, как капли из прохудившейся кадки.

На спуске Хольд посмотрел вниз, на Гнилые Слободы и свою лавку, теперь платившую за то, что числится. Затем вверх — на Двор, где кадку уже унесли с глаз, а над его именем в реестре сохло слово «принесено». Между низом и верхом стоял он сам с пустым плечом. Однажды так же свернут в казённое слово его лицо, руки и шестьдесят кругов воды, малой выноской сведут в чужую графу. Этого Хольд ещё не знал.

Может быть, знали руки: они помнили больше, чем Хольд успевал подумать. Он потёр ноющее плечо, надел шапку — голова уже забыла, что снимала, — и пошёл вниз, к воде. Над ним во Дворе ещё не зажгли вечерних свечей. Под мостками малый снова горбился над углём и по одному спускал клочки, которым нельзя было оставаться на берегу.

Глава третья. Похороненная строка

Так Орм Кес думал всякий раз, когда ладонь ложилась на кожаный чехол. Тот был плотный, отжатый, тяжелее, чем обещал размер. С виду — торфяной брикет из тех, что вяжут в связки и сушат под навесом; рука сразу узнавала другое. Внутри лежал чёрный камень Большой Печати. Камень был чужим, а Орм — приставленным к нему сторожем, который спит при чужом добре и отвечает тем единственным, что у сторожа своё: головой.

В верхней палате наступил час между дневными писцами и ночными. Над конторкой ровно шипел газ — тонким звуком, который за годы перестаёшь слышать, пока он не смолкнет. Рядом, словно в насмешку над рожком, оплывала сальная свеча в жестяном подсвечнике. Никто уже не помнил, зачем жгут оба огня. Заведённое не отменяли: отмену пришлось бы вписать, провести по книгам и утвердить, а это стоило дороже сала.

Чехол лежал на коленях. Цепочка уходила под мундир и тянула не весом, а знанием: другой её конец был не у Орма.

До вечера шёл обычный приём. Капсула с утра ждала нераспечатанной в запертом ящике: при писцах Орм её на сукне не держал. Посетители несли строки на покупку, исправление, отписку и перенос числа; пошлину в тряпице клали поверх листа, поклон заучивали ещё у двери. Капсула приходила однажды. Такой час повторялся каждый день и потому был тяжелее.

Уставщик нижней управы был толст и потел не по холоду, а изнутри — так потеет человек, который несёт на себе чужую недостачу и старается не дать ей звякнуть. Новый не по чину мундир сидел на нём слишком ровно. На край сукна он положил ведомость на подтоп, поверх — тряпицу с пошлиной, туго завязанную и обмятую пальцами в дороге.

— По числу всё сошлось, отче, — сказал уставщик. — Принять велите?

Орм не тронул ни листа, ни тряпицы. Он сперва пересчитал дворы по прежней ведомости и по нынешней. Недоставало двух, и это была не описка: вымарка лежала слишком ровно. С них собирались взять пошлину, но в спасательную книгу не внести. Приложи Орм камень — два двора пойдут под воду, как та старуха, чью строку когда-то так же похоронили в ведомости, прежде чем сверху лёг оттиск. Верни дворы открыто — нижний уставщик недосчитается мзды, поймёт, кто увидел, и затаит.

— Утрись, — сказал Орм.

Уставщик дёрнулся, вытер лоб тыльной стороной ладони, и испарина выступила снова, гуще.

Орм отодвинул ведомость на край сукна — двумя пальцами, как отодвигают неготовое блюдо.

— Пересчитай. Тут считано по карману, а не по плотам. — И, помолчав, не глядя на тряпицу: — И это унеси. Считанное по карману и пошлину родит карманную.

Уставщик побледнел, забрал лист и тряпицу, причём вторую прятал суетливее, чем ведомость, и кланялся спиной до двери. Орм знал: завтра лист вернётся, выправленный ровно настолько, чтобы карман уцелел, а вид стал законным. Два двора появятся не как возвращённая мзда, а как исправленная описка; описку Орм сможет покрыть печатью, не объявляя войны нижней управе. Сегодня камень остался в чехле.

Под газом лежала вторая безымянная капсула, медью кверху. Вчерашний веер — Нелов клочок и прежние из неподписных, разложенные год к году, — Орм держал при себе; эту Нел принёс утром и оставил нераспечатанной. Вошёл он без обычной задержки у порога, прямо к конторке, положил гильзу на сукно и отступил на предписанный шаг. Когда Нел был особенно честен, лицо его бледнело.

— Без подписи, отче. Третья труба, от Слобод. Приёмной печати и числа нет; при писцах я не вскрывал. — Нел помолчал, словно сверяясь с черновиком и проверяя порядок признаков.

— Безымянная капсула уже нарушение. Это нарушение миновало реестр и дошло прямо к вам, наверх. Я рассудил: дело либо пустое, либо такое, что пустым его звать опасно.

— Вскрывал?

— При вас, отче. Чтобы вы видели, что я не читал.

Нел принёс порядок, не страх: проверил путь капсулы, отделил известное от предположенного и теперь ждал, какое место делу назначит старший. Лишь после распоряжения Кеса он позволил бы себе испугаться по-настоящему — тоже в положенном месте и сроке.

— Кто стоял у третьей трубы утром? — спросил Орм, не поднимая глаз от гильзы.

— Двое: сменный приёмщик Ферт и мальчишка-подъёмщик, плотовой, без вписи, взятый за хлеб. Вписать такого стоит прихода, а прихода за него никто не дал. Ферт клянётся, что трубу не отпирал и капсула пришла сама, по тяге. Не верьте: труба тянет снизу, но не вынимает гильзу из лотка и не ставит на стол медью кверху. Её клали рукой. Чью руку Ферт прикрыл, не скажет; принять без печати — уже черта, а он понимает цену черты.

— Ферта не трогай. Впишешь нарушение — станут искать, кто слал, а найдут, что искали мы. Пусть пришла сама, по тяге. — Орм помолчал. — Мальчишку как звать?

— Никак, отче. Безымянный.

— Так и оставь. Безымянного не ищут. Найдёшь — придётся вписать.

Орм притих ещё до вскрытия. Тот, кто хотел от Свода хотя бы строки, приходил с именем, поклоном и пошлиной в приёмный час. Даже угрожавший обычно оставлял цену, за которую надеялся сторговаться. Безымянную гильзу снизу, мимо реестра, послал человек, которому книга не обещала ничего. Он не собирался вписаться, купить строку или выслужить перо годами поклонов. Он собирался сжечь книгу — и не оставлять долга даже на пепле.

— Ступай, — сказал он Нелу. — Числа не клади. Будто её и не было.

Нел понял: старший велит спрятать, не показать. Наклонил голову в знак согласия и вышел, ступая по дубовым половицам ровно.

Старик остался один. Он вскрыл гильзу. Внутри была полоска рыхлой серой бумаги — дешёвой, плотовой, какая впитывает чернила и пухнет от сырости. На ней было написано не пером, а углём, печатными корявыми буквами, чтобы не узнали руку:

СВОД ГОРИТ. КНИГА НЕ БОГ. ПЕПЕЛ НЕ ДОЛЖЕН.

Орм накрыл записку ладонью и тут же отнял руку. Его обязанностью был камень, не огонь.

Газ шипел.

За окном в сером низком вельмарском свете лежал сухой холм Досмара: брусчатка, мощёные подъёмы, чёрная от мороси черепица. Вода сюда не доходила. Ниже, где камень уступал место связанным плотам, под сваями Слобод стояла торфяная вода и держала на себе целые дворы. Тот низ Орм знал не по книгам — кожей.

Сам Орм вырос не там, а среди вписанных, у кого изба крепко стоит на свае, а имя — в живой книге; таким было что терять и чем дорожить. Но молодым старшим писарем он разносил вниз выписки, сверял плотовые ведомости, считал дворы по сваям. Видел плоты, связанные лозой и ремнём, хлеб, который пекли на плоских камнях, взрослых без бумаги и детей без числа. Служебная книга называла всё это пустым местом между внесёнными дворами.

Однажды ночью его послали сверять подъём настилов. На верхнем плоту Орм держал фонарь и считал зарубки, которые плотовые сами резали на свае после больших вод: семь прежних разливов, семь пределов памяти. Вода шла без грома, одним ровным подъёмом. Прошла пятую, шестую и поднялась к седьмой; постояла под ней, затем поползла выше. Плотовые молчали, глядя на сваю. Орм молчал вместе с ними. Дальше считать было нечего: выше зарубки начиналась память, которой не было графы.

И один старый плотовщик, безымянный, в рубахе из мешковины, сказал ему, не оборачиваясь:

— Ты, писарь, седьмую запиши. Седьмую впервые видим.

И Орм достал книгу, и хотел записать, и не записал: книга была спасательная, а в неё клали не воду — людей, за приход. Воду же клали в другую, в которой его, старшего писаря, руки не было.

— Седьмая не моя книга, — сказал он.

И старик посмотрел на него — долго, как потом смотрел на него тот, первый держатель печати, — и сказал тихо, без укора, одним лишь знанием:

— Тогда и нас не твоя.

И отвернулся к воде, и больше не оборачивался.

Вода шла всю ночь. Перед рассветом тронула настил под ногами; тот вздохнул и осел, а ниже мягко ухнули уходящие сваи. Большая вода брала тихо: короткий крик, чёрный круг — и снова ровная поверхность. К утру взяло безбумажную старуху, которой не дали прихода и потому не внесли в спасательную, трёх безымянных детей и старого плотовщика, просившего записать седьмую. Орм стоял у зарубки по щиколотку в холодной торфяной воде с сухой книгой в руках. В ней не убыло ни строки, потому что прежде ничего не прибавили: по бумаге никто из пятерых не утонул. Река брала тела; книга заранее выбирала, какие тела ей отдать.

Ту старуху он видел днём раньше — под навесом, как она держала связку торфа, отжимая воду. Лицо сухое, тёмное, в мелких морщинах, как кора. Помнит до сих пор. А в спасательную не внёс: за внесение шла пошлина прихода, а пошлины за старуху никто не дал.

Юным он верил, что строка служит людям и держит воду — кровь, голод, тёмную волю сильного. Писарь считал эту воду, разводил по руслам и тем укрощал. Орм и теперь повторял это себе, но между прежней верой и нынешним днём лежало сорок лет строк. Каждая оказывалась против кого-то. Всякая дамба кого-то топила, чтобы спасти другого, а выбор приходил сверху, от лица, которого Орм никогда не видел.

На дне это лицо звали Пером или «тем, в Досмаре». Им пугали детей и оправдывались перед взрослыми: так велено, не моя воля. Орм сам сидел в Досмаре и держал Большую Печать; для Слобод именно он мог казаться тем безымянным Именем. Но над ним оставались строка, голос за дверью и чужая рука, которая в нужный срок ляжет на его горло.

У Имени не было горла. Каждый, в ком его искали, отвечал выше: не я, мне велено, спросите с того, кто надо мной. Наверху лица уже не оставалось — только руки, передававшие строку дальше. Руку можно было сломать, но на её место приходила другая; искать следовало шею, а шеи не было.

Раз в год, осенью, Орм видел это устройство на совете держателей. Приходские, портовые, хеммарские, хранители каторжного и мёртвого реестров садились вокруг длинного дубового стола. Никто не занимал главного места, никто не принимал поклон первым. Старшего среди них не было, но воля всякий раз приходила вовремя.

На последнем совете воля пришла, как обычно, запиской на голом подносе. Служка поклонился столу — всем и никому — и положил сложенный лист точно посредине, на равном расстоянии от рук, чтобы ничья не коснулась первой. Уставное письмо было чистым, без подписи и печати. Самый старый годами, хеммарский, развернул его и ровно, как чужое, прочёл:

— «Ввиду ветхости настилов и предстоящей большой воды пошлину прихода поднять на треть».

И положил листок обратно на середину, и руку убрал.

Держатели кивали, Орм вместе с ними. Каждый смотрел на листок: поднять глаза на соседа значило искать, от кого пришла воля.

И один лишь портовый, ещё молодой, в держательском венце не обтёршийся, спросил вслух, в стол:

— А кто считал ветхость? И где та большая вода писана?

Никто к нему не повернулся: тогда пришлось бы признать, что вопрос кому-то задан и кто-то обязан ответить. Записка лежала посредине стола и молчала, как камень. Хеммарский смотрел на руки, каторжный — на безымянный лист. Молодой сам вписал себя одним вопросом, и тишина уже считала его: кто заметил, кто запомнил, кому передаст после совета.

Портовый подождал ответа, потом медленно кивнул сам себе и умолк. Больше не спрашивал ни в тот год, ни после. К весне его перевели держать мёртвый реестр — без казни, приговора и объявленной причины. Там спрашивать было не с кого: мёртвые пошлин не платили и вопросов не задавали.

Он развязал чехол.

Орм развязывал чехол редко и всегда наедине. Не из нежности: обтереть камень от дневной пыли было обязанностью сторожа, за небрежность с него спросили бы прежде, чем за неверную строку. Чёрная гранёная Печать легла в ладонь тёплой снизу, где грелась о тело сквозь сукно, и холодной сверху, где её держал воздух палаты. Обкатанный рукой бок привычно пришёлся в мозоль, которую сам натёр за годы.

Оттиск превращал строку в закон, человека — в должника, приговор — в исполнимый. На всём сером полуострове не было вещи весомее. Золото покупало строку, но камень стоял над золотом; клинок брал одну жизнь, Печать могла взять род и род рода наследуемой пеней. Орм накрыл её ладонью и не почувствовал ни любви, ни жадности — только привязь. Выпусти он камень хотя бы на ночь, его собственную строку вычеркнут из живых книг. Сторож, не уберёгший Печать, не годился даже Хеммару: там нужны руки, а он без камня был уже не рукой.

Хомут, не венец, думал Орм, протирая гранёный бок мягкой ветошью. Венец надевают, чтобы возвысить; хомут — чтобы тянуть. Снизу, из реестров и Слобод, тяжесть на чужой шее кажется убором: не видно, как она трёт. Чем выше несёшь, тем больше под тобой тех, чью воду держишь, и над тобой — тех, кто спросит за всякую щель в дамбе. Венец держит голова; хомут тянут за горло, и удобнее всего тянуть того, у кого достаточно ума чувствовать тягу, но недостаточно воли снять ярмо.

У Орма был не предписанный уставом обряд. В нижнем ящике, под отдельным замком, он держал плитку белого воска и раз в месяц делал пробный оттиск — не для дела, только для сличения с прежним. Проверял, не сточилась ли грань, не выкрошился ли обвод, не появилась ли щербина, по которой подделку отличат от истинного, а истинное — от состарившегося. Камень называли вечным; Орм знал, что сорок лет у груди стачивают любую вещь. Лишь он видел, как стареет истина, приложенная к сургучу. Он мог объявить Печать негодной и остановить Свод, как мельницу вынутым штырём, — один раз, вместе с собственной службой. Нынешний оттиск показал: грань держала, обвод был цел. Орм запер плитку.

Он завязал чехол и снова положил его на колени.

И тогда, в тишине, под шип газа, поднялась в нём похороненная строка.

Не из Свода — из памяти. Молодым старшим писарем Орм сам сочинил строку: перед разливом вносить невписанных в спасательную ведомость без пошлины, единым общим списком по плотам, чтобы вода не брала тех, кого не успели купить. Две ночи он выправлял слова, закрывая всякую щель для отказа: наверху такую щель нашли бы и заткнули ею ему рот. Потом принёс плотный, выверенный лист тогдашнему держателю Печати — старику, каким теперь стал сам.

Старик прочёл не торопясь и посмотрел поверх листа с усталостью, осевшей за долгую службу.

— Складно. Внеси — и завтра всякий даром запишется спасаемым дважды: изба на свае там, плот привязан здесь. В обе ведомости влезет, в обе его станут снимать, а прихода не даст ни за одну. Пошлины не станет, а ею держат дамбы. На что поднимем настил перед большой

водой — на твою строку? — Старик говорил без гнева, как о проверенной сумме. — Спасёшь сотню, утопишь тысячу. Вымарай.

Орм тогда не вымарал сразу. Он стоял, держал лист и сказал — единственный раз за всю службу осмелился возразить держателю печати:

— А если впишем без пошлины, а пошлину возьмём после, по большой воде, с тех, кто уцелел, — назад за спасение, а не вперёд за страх?

Старик не рассердился; в лице мелькнула сухая радость старшего, встретившего в младшем последний спор.

— С уцелевшего брать нечего: что было, вода взяла, остался гол да жив. Вперёд впиши даром, назад не получи вовсе. А спасаемым он уже станет по твоей строке. Дамба просит вперёд, не назад. Вода не ждёт, пока ты обойдёшь уцелевших с лоточком: она идёт сейчас, свая нужна была вчера.

Потом добавил уже не поучая:

— Ты сосчитал спасённых, старший писарь. Сосчитай теперь утопших. Их всегда больше. Их всегда больше, потому что мёртвых считать дешевле — за них пошлины не берут.

И Орм сосчитал. И умолк.

И Орм вымарал. Своей рукой провёл черту по своей строке — раз, твёрдо, чтобы под чертой ничего не читалось. И строка стала похороненной.

«Спасёшь сотню — утопишь тысячу» Орм повторял сорок лет перед каждой чертой. Счёт не был ложью — в этом и состояла его сила. Дамба и вправду держала; убери пошлину — сверху найдут подать злее. Сломай одну руку, кладущую черту, — другая положит ту же и себя не пожалеет. Пока стоял Свод, безбумажные тонули не всеми слободами в одну ночь, а по одному, по строке. Это называлось порядком. Одного можно было сосчитать, записать причиной и закрыть дело; море не считали.

Капсула без подписи лежала под газовым светом и обещала спалить дамбу.

Орм придвинул казённый лист — плотный, не плотовую рыхлядь, с водяным знаком Двора: двор и в нём перо. Обмакнул стальное перо в казённые чёрные чернила с горьким духом железа и ореховой коросты, подержал над склянкой, пока не стекла лишняя капля. На чистом листе клякса тоже становилась обстоятельством дела. Старая рука в коричневых пятнах и узлах суставов не дрожала.

Он стал писать.

Он писал строку против безбумажных сходок — против того, чтобы невнесённые собирались на плотах и слушали обещавших сжечь книгу. Перо сухо царапало бумагу тем звуком, которого во Дворе давно не замечали. Зачин лёг привычно: всякую сходку числить умыслом против Свода. Следом — всякого зачинщика отписать в Хеммар, на торф, бессрочно. На третьем положении, о тех, кто даст зачинщику настил и хлеб, рука остановилась.

Пеню следовало положить на укрывателя. Орм написал: «и на род его», подержал перо и вымарал твёрдо, чтобы не читалось. «Род» был широк и пуст: включал мёртвых, с которых уже не взыщешь. Затем написал «до второго колена». Сын укрывателя на дне сам считался укрывателем; его и без новой строки возьмут вместе с отцом, поэтому страху второе колено не прибавляло. Орм зачеркнул и это. Бумага пошла рябью, чернила въелись в верхний слой, лист придётся переписывать. Но рука торговалась не за бумагу, а за меру, при которой угроза сработает прежде разъезда.

Он обмакнул в третий раз и дал капле стечь дольше прежнего. И написал: «до третьего колена». И не зачеркнул.

За себя на дне боялись дёшево, за сына — поздно. За внука испугается всякий, у кого внук есть. Чем крепче угроза, тем реже придётся исполнять. Третье колено Орм оставил.

На середине строки газ просел: должно быть, внизу открыли большой вентиль. Пламя сжалось в синий лепесток, палату повело в полутьму, и осталась одна сальная свеча. Орм замер

с пером на весу. Газ не смолк, а зашипел ниже и гуще, у самого дна стекла. Этот звук вернул его к седьмой зарубке, в холодную воду, где фонарь оплывал, настил оседал, а река ждала, какую книгу он откроет. Орм сидел так, пока вентиль внизу не закрыли. Рожок выровнялся, вернулся белый законный свет. Старуха в памяти отвернулась и ушла под навес к своему торфу. Орм снова обмакнул перо и дописал строку до точки.

Орм переписал начисто. Испорченный лист с двумя зачёркнутыми коленами отложил под низ, чтобы после сжечь самому: в писцовой прочтут всякую вымарку и сочтут, над какой мерой медлил держатель. На чистом листе третье колено пришло сразу, ровно и законно, без следа «рода» и «второго». Будущий читатель увидит готовую суровость, будто та родилась целиком. Строка не помнила торга руки — в этом была половина её силы.

Орм проверил довод ещё раз, как спорную сумму: если Свод сгорит, вода прежде сухого Досмара возьмёт плоты. Спасательные ведомости исчезнут вместе с долговыми; разъезд станет считать людей не по строке, а по настилу, и возьмёт весь плот. Значит, черта против безбумажных должна была удержать разъезд от самих безбумажных. Юная строка считала сотню, нынешняя — тысячу. Этот итог сходился, хотя рука помнила вымаранное.

Он присыпал строку песком из костяной песочницы, дал впитать и стряхнул песок обратно. Алую сургучную палочку нагрел над свечой и уронил под строку три капли; они сошлись в тёмную лужицу, уже затягивавшуюся коркой по краям. Ладонь Орма задержалась над завязкой чехла ровно на один миг. В нём успела шевельнуться давняя рука, писавшая невнесённых в спасательную. Дольше нельзя: сургуч застынет, придётся греть снова, а второй раз рука уже не медлит.

И он развязал чехол, и вынул камень, и приложил.

Печать вошла в сургуч с коротким сытым звуком вправленной кости. Орм держал нажим, считая до трёх, чтобы взялся весь обвод. Поднял камень только после счёта. Оттиск вышел чистый: чёрный двор, знак Свода, ни пузыря, ни щербины. Строка стала законом. Безбумажные сходки стали умыслом; человек, которого Орм никогда не увидит, — укрывателем, а ещё не рождённый его внук — должником прежде рождения.

В дверь стукнули — два раза, тихо, как стучат не просясь, а предупреждая. Вошёл Нел, с другой гильзой и с реестром под мышкой, и остановился у порога, увидев на конторке свежий сургуч.

— Готово, отче? Заложить в исходящие?

— Заложи. По первой трубе, во все приходские управы, к утренней разноске. — Орм не смотрел на него — смотрел на остывающий оттиск. — И впиши в исходящий реестр одной строкой: «О пресечении безбумажных сходок». Число поставь сегодняшнее.

Нел взял лист за край, не касаясь сургуча. На словах «до третьего колена» остановился и перечёл — проверил, не ошибся ли.

— До третьего колена, отче, — сказал Нел, не спрашивая, а как бы сверяя, не описка ли. — Сурово.

— Сурово. Но считай спасённых. Соберётся сходка — хеммарский разъезд возьмёт весь плот: так считать легче. Не соберётся — разъезд не придёт. Десяток испугается строки, сотню не увезут. Запиши и иди.

Нел наклонил голову — согласие, не поклон — и понёс лист к исходящим. В соседней палате перо сразу зацарапало реестр, ровно и без задержки: название, число, первая труба, приходские управы.

Камень ещё лежал на сукне, остывая гранью после сургуча, а пустой чехол на коленях стал тяжелее. Орм не видел в Печати собственной силы и потому мог держать её спокойнее тех, кто путал камень с собой. Он видел только хомут. Тот был один; шей под ним много — Ормова, низовых, той утонувшей старухи, которой нет ни в одной книге. Каждая тянула воз в свою сторону, и потому он стоял прочно, всё глубже врастая в землю.

Орм обтёр камень, вложил в чехол и спрятал под мундир. Цепочка легла в старую мозоль на груди.

Угольную записку Орм не сжёг: сожжение стало бы делом, пепел заметили бы и спросили, что горело утром в верхней палате. Он выбрал более тихое место. Полоску серой плотовой бумаги положил в нижний запертый ящик рядом с плиткой пробных оттисков — не в реестр и не в улику, а к себе, где не лежало ничего казённого. «СВОД ГОРИТ. КНИГА НЕ БОГ. ПЕПЕЛ НЕ ДОЛЖЕН». Пусть остаётся седьмой зарубкой, под которой ждёт большая вода. Орм запер ящик; ключ вернулся на ту же цепочку, что и Печать, к груди. Камень, которым держали Свод, и уголь, которым обещали его сжечь, висели теперь на одной привязи, хотя только один касался тела.

За окном низко и тихо держалась чёрная вода. Где-то на плотах писавший углём готовил огонь для Свода и, должно быть, считал его единственной бедой. Дамба, которую он хотел сжечь, была дрянной, стояла на чужих костях и топила тех, ради кого будто бы строилась. Но другой у Слобод не было, а насыпать новую было некому, кроме тех же рук, что собирали пошлину.

Орм загасил свечу щипком, чтобы не чадила. При шипящем газе он держал на груди чужой камень, которым только что поставил черту против тех, кого рассчитывал уберечь; в запертом ящике лежал уголь. Две вещи не примирялись и не отменяли друг друга. Между ними оставался тот единственный миг, на который рука задержалась над завязкой, — малый срок, ещё помнивший юную похороненную строку.

Глава четвёртая. Молодой мундир

Герсом Крином его звали теперь; прежде он шёл в реестре одним из четырёх крестиков.

Герс был новенький, с иголочки. Мундир сидел впритирку, чёрное сукно ещё держало утюжную складку, по борту белели шесть костяных пуговиц — ровных, без щербин. От него пахло портновским мелом, гарью утюга, ниткой, которой обмётывали петли. Герс дорожил этим запахом: за него было уплачено. Казённое, выданное во Дворе, пахло иначе — сыростью шкафов, мышью и старым сургучом, осыпавшимся с корешков бурой крупой.

Он поправил нижнюю пуговицу, хотя та сидела ровно. Герс любил проверять их пальцем: холодная гладкая кость была первой собственностью, вписанной на его имя, а не долгом против него. Пуговицы числились за ним по мундирной описи, и за каждую он доплатил сам. Герс пересчитал их, не глядя, как считают зубы языком: три вниз, три вверх. Все шесть на месте, ни одна нитка не ослабла.

Три дня назад кривенький портной на Сухой улице обмерял Герса в задней каморке для казённых. Водил шнурком по плечу, спине, под мышкой и ворчал сквозь восемь булавок во рту: узок в плечах, лёгок в кости, недоел в малолетстве. Герс молчал и считал булавки — семь у края губы, восьмая в зубах. Для младшего переписчика портной приготовил дешёвое серое сукно. Герс указал на плотное чёрное и положил монету вперёд, прежде чем тот успел отказать. Потом сам перебрал коробку пуговиц, выбрал шесть ровных, без щербины, велел нашить вгладь, чтобы не топорщились. Перед мутным зеркалом не улыбался отражению, а проверил плечи, борт, ворот, каждую петлю. Всё сходилось, долга не осталось ни на грош.

За дверью каморки Кес храпел с тонким подсвистом, со свистулькой на каждом выдохе. Герс слушал и считал вдохи, отмечая короткие сбои. Стариков ночной обычай он выучил в первую же ночь: перед сном Кес снимал привязь с шеи и клал чехол под ладонь, на кожаную подушечку, протёртую до бахромы за годы таких ночей. Спящая грудь пропажи не почует, рука — почует. Пока Кес держал чехол даже во сне, взять его без пробуждения было нельзя. Старик спал, охраняя Печать; Герс бодрствовал, желая её и не трогая раньше срока.

Газовый рожок шипел над конторкой и разливал по корешкам Свода жидкий жёлтый свет. Рядом оплывала лишняя сальная свеча; натёкший воск свернулся набок, фитиль чадил. Оба огня зажигали по привычке. Во Дворе она была законом прежде закона: статьи переписывали с каждым правлением, а привычка сидела в стенах, как сырость, и не требовала Печати.

На конторке был раскрыт третий том Свода, тетрадь со статьями о безбумажных сходках. Новая строка Кеса ещё не вылежалась до чёрного и отдавала бурым по краям нажима; сургуч уже остыл, но хранил слабый запах свечи. Герс читал её, наклонившись к рожку, не спеша и дважды проверяя каждое условие: строка ещё пригодится.

«Всякую сходку безбумажных числить умыслом против Свода; всякого зачинщика отписать в Хеммар, на торф, бессрочно; а укрывателю — пеня, до третьего колена».

Ноготь прошёл на волос выше чернил, не касаясь свежего нажима. Хорошая строка: страх был широк, исполнение оставлено нижним рукам, а цена ошибки ляжет на тех, кого Орм никогда не увидит. Кес, должно быть, уверял себя, что бережёт ею тех же безбумажных. Герс давно занёс эту стариковскую жалость в счёт слабостей. Для него важны были не сходки и не спасённые, а место, которое тревога освобождала рядом с Печатью.

А ложилось дело вот как.

Из реестров и Слобод поднимался глухой слух о человеке, которому перо не нужно. Не соискатель и не обычный бунтарь, желающий сесть на чужое место и писать свои строки, — таких Двор умел покупать, делить и перемалывать. Они оставались той же породой, только входили с другого конца. Этот хотел сломать Перо и сжечь книгу целиком, чтобы не осталось ни доброй строки, ни злой.

В самого сжигателя Герс верил не вполне — слишком удобное пугало для старших писарей, чтобы держались устава и не своевольничали. Но он верил в страх, который слух наводил на них: Кес стал чаще проверять чехол, Марн перестал уходить первым, в ночную ведомость добавили лишний обход. Такой страх был настоящим. Его можно было взять, развернуть к нужному месту и пустить в дело; сжигателя для этого ловить не требовалось.

Герс бесшумно прошёл к окну, мягко ставя новые, ещё жёсткие в подъёме сапоги, чтобы кожа не скрипнула. За мутным потёчным стеклом редкие газовые рожки прорезали ночную Досмар. Дальше квартал ронял себя к реке, и под уклоном лежали Гнилые Слободы без единого огня. Там нельзя было различить ни плота, ни лица, ни руки; оттуда шёл слух, уже приносивший Герсу пользу.

У дальней стены, на колченогом табурете, дремал безвестный проситель в потёртом сюртучке, лоснившемся на локтях. На коленях держал гусли и даже во сне придерживал пальцами расстроенную струну, чтобы не звякнула. Голова свесилась, рот приоткрылся; должно быть, ждал приёма с вечера. Герс скользнул взглядом и забыл. Проситель был строкой, которой ещё не существовало, а Герса занимали написанные — прежде всего те, что можно толковать заново.

Вернувшись, Герс достал из-за отворота рукава личную серую тетрадь с захватанными углами. Во Двор её не вносили: здесь был счёт слабостей — кто из старших чем дышит, у кого какой принос, кто кому должен молчанием, чья услуга ещё не погашена. Тетрадь он носил на теле; новое сукно над ней грелось. Кес занимал целую страницу. Герс провёл пальцем по прежним наблюдениям и перечёл итог:

«Дрожит рука. Жалеет безбумажных — тайно, стыдясь. Боится за Печать — головой за неё, потому не спит толком. Дрогнет перед сжигателем — выпустит чехол».

К последней строке он возвращался каждую ночь, как к счёту, у которого ещё не наступил срок. Старый страх в Кесе давно жил и теперь получил лицо сжигателя. Если держатель дрогнет или попытается спрятать Печать, её передадут руке, которую наверху сочтут твёрдой. Герс заранее одел такую руку в новое чёрное сукно и поставил рядом со стариком на ночную службу.

На других страницах стояли Марн — берёт салом и солониной, складывает в нижний ящик, а дома зовёт казённым пайком; Ренк — должен молчанием за сына, которого отписали в Хеммар и выкупили задним числом подложной выноской. Герс знал руку выноски и знал, что Ренк знает об этом знании. Кладовой дьяк недовесил казне три пуда сургуча за два года — всё записано точно, до золотника и даты отпуска. Каждая слабость была рукоятью, не доброй и не злой. Герс проверял их, как пуговицы: все пока держали.

Своим стальным пером — казённым в Свод он смел писать только при свидетелях — Герс попробовал на черновом листе другую строку. Остриё чиркнуло о дно чернильницы, набрало ровно столько, сколько нужно. Новая формулировка была мягче с виду и выгоднее в исполнении.

«Сходбища безбумажных, тревоги ради общей, дозволять под надзором внесённого попечителя, которому и вести им счёт».

Герс отвёл перо и прищурился, читая написанное как чужое. Снаружи получалась милость: безбумажным дозволяли собираться под защитой внесённого. Внутри — постоянный сбор. Законна лишь сходка при попечителе; попечителя ставит Двор за принос, его присутствие возобновляют по сроку. Значит, платить будут не разовым штрафом, а помесячно, пока сходка существует. Кес загонял безбумажных в тень, где с них нечего взять; Герс выводил на свет, считал и назначал цену.

Вписывать её было рано: провести строку поперёк стариковой при живой стариковой Печати означало открытую драку. В драку Герс не входил, пока не знал числа рук на каждой стороне и цены задержки. Он сделал тоньше.

Он отлистал третий том назад и нашёл полузабытую статью о попечителях над промыслами, ещё с вольных годов. Бумага пожелтела, сгиб пошёл бахромой, буквы выцвели до ржавчины. На нижнем поле Герс мелким уставным почерком приписал: промыслом считать также сходбище ради промысла, а таким сходбищем — всякое. Это было толкование, не новая строка, поэтому Большая Печать не требовалась: толковать поставлен уставщик. Кес при выверке мог не заметить выноску. Заметив, не докажет, кто и в каком году её положил; старая бумага принимала свежую руку, если подобрать чернила.

Герс присыпал выноску песком из костяной песочницы, сдул лишнее и подождал, пока бурый блеск уйдёт. Мелкие ровные буквы встали между соседних помет и почти не отличались от старых. Хорошая приписка брала своё тихо, без топора по живому, и могла пережить Кеса, слух о сжигателе и самого Герса.

И тут, словно в ответ на эту тихую работу, скрипнула наружная дверь приёмной. Герс прикрыл черновой лист рукавом, не вставая, и обернулся — вполоборота, не больше.

Вошёл пьющий и болтливый старший писарь Сурн с ночной ведомостью: кто из палаты ушёл, кто остался, сколько свеч пожжено. Принимать по уставу должен был Кес, но он спал. Сурн потоптался у каморки, заглянул в щель, послушал храп и только тогда подошёл к молодому. От него несло сивухой и луком, глаза плавали, хотя лист он держал бережно.

— Спит старый, — сказал Сурн шёпотом, и шёпот был мокрый. — Ты прими, что ли. Распишись.

Герс прочёл ведомость. Свеч пожжено на две больше кладового отпуска — мелкий недовес. Под его взглядом Сурн протрезвел лицом, хотя тело ещё качалось.

— Две лишних, — сказал Герс тихо.

— Так это… — Сурн засуетился, и руки его пошли по ведомости, будто хотели стереть строку до того, как её прочтут. — Это Марн брал, под свою работу, я что… я только пишу, что выдано…

— Пиши. — Герс выдержал паузу, обмакнул перо и ровно, разборчиво расписался под чужим недовесом своим именем: видел и принял. Подпись не снимала вины, а связывала её. Теперь две свечи висели сразу на Сурне и Марне, а второй конец строки держал Герс, заплатив за него одним росчерком.

— Ступай, — сказал Герс. — И Марну скажи: я видел. — И, когда тот уже взялся за скобу, прибавил, не повышая голоса: — А лучше не говори. Сам ему сгожусь.

Сурн моргнул, и в плавающих глазах проступило понимание. Сурн коротко поклонился шейкой.

— Уважу. Как велишь. — Сурн вышел на цыпочках, уже чувствуя короткий повод.

Герс ничего не внёс в серую тетрадь. Некоторые долги держались на том, что оба о них знали.

Герс отложил перо и прислушался к малой палате, где младшие допоздна переписывали набело. Там десятком разных ладов скрипели перья, кто-то кашлял, кто-то двигал табурет. Поверх привычного шума один голос вполголоса пересказывал слышанное на торгу, смакуя ровно те подробности, за которые могли отписать.

— …а лицо, говорят, всё в струпьях, торфом палёное, не разберёшь, где глаз. И встал он, значит, перед сходкой, на бочку взлез, — рассказывал голос, — и кричит.

— Чего кричит-то? — спросил другой, помоложе.

— А вот чего. Силой, кричит, перо не отдадут. Добром не выпросишь, по-хорошему не дадут — значит, силой и взять. Сами, мол, виноваты будете.

— Тише ты, — сказал третий. — Услышат — самих в Хеммар отпишут, по новой-то строке.

Голос осёкся. Помолчали. Потом первый повторил тише, уже совсем тихо, как повторяют то, что страшно и тянет повторить:

— Силой и взять.

В голосе слышался ужас внесённого, который вчера сам был никем, а нынче кормился при пере. Такой боялся не только огня и толпы: вместе со Сводом могла сгореть строка, державшая его над прежним местом.

Младший голос переждал чужой испуг и негромко сказал:

— А ведь и то. Перо-то нам когда давали? Дедам не дали, отцам не дали…

Он осёкся сам, без чужого окрика, испугавшись уже не сжигателя, а собственных слов. Но слова были сказаны. Герс отложил их отдельно, как булавку, которая ещё пригодится: не всякий младший при пере боялся бочки; одного она тянула к тихому согласию. Этого следовало узнать в лицо и не трогать, пока не выяснится, куда он склонится.

Герс приотворил дверь на палец, чтобы видеть, не входя. Семеро младших сидели при сальных огарках, согнувшись над листами. Рыжий востроносый Вельт, рассказывавший про струпья, увидел в щели чёрное сукно и сразу уткнулся в строку. Остальные последовали за ним; перья разом заскрипели усердно и невпопад, доказывая, будто разговора не было. Только круглолицый с упрямой нижней губой не пригнулся торопливо, а медленно опустил голову, до последнего удерживая спину. Герс запомнил лицо прежде имени.

Тогда Герс отворил дверь и постоял в дверях. Он не сказал ни слова о сжигателе, о торге, о бочке. Он сказал другое:

— Вельт. Покажи лист.

Вельт подал лист обеими руками, удерживая дрожь в локтях. Герс поднёс его к огарку и прочёл сверху вниз. Список был чист, почерк ровен, ни одной помарки — можно было отпустить писца без наказания. Но в третьей строке снизу, где Вельт заболтался, был пропущен оборотный титул в слове «государевой». Герс провёл под местом ногтем.

— Тут, — сказал Герс. — Перепишешь страницу.

— Так одна буква… — начал было Вельт и осёкся снова.

— Одна, — согласился Герс. — Перепишешь страницу.

И тут тот, что помоложе, круглолицый, поднял глаза от листа. Не дерзко — будто не сдержавшись:

— За одну букву — всю страницу?

Стало слышно, как чадит огарок. Герс посмотрел на круглое лицо и упрямую губу, запоминая недовес.

— Как звать, — сказал он. Не спросил — сказал.

— Хольд. — На последнем слоге голос дрогнул: смелость кончилась.

— Хольд. За одну букву — всю страницу. В Своде буква одна не бывает. — Герс вернул Вельту лист и тихо затворил дверь.

За дверью установилась тишина, полная несказанного. До утра в палате не помянут ни сжигателя, ни бочки, ни того, как берут перо. Хольда Герс внёс в память отдельно, без гнева.

Проповедника с бочки Герс знал по доносам. Дарн Ворн, из пороховых, с палёным лицом; его люди с постепеновцами грызлись злее, чем с самим Двором. Доносы называли Дарна то безумцем, то будущим вождём, но Герс отбросил оба слова. В услышанном призыве он узнал собственную хватку.

Дарн брал перо топором на площади, Герс — припиской на нижнем поле. Один шёл на Двор снизу с огнём, другой поднимался внутри с уставным почерком, но оба знали: добровольно перо не отдадут. Дарн называл своё желание справедливостью для заёмных. Герс не тратился на красивое название — цена и без него оставалась той же.

Герс коротко усмехнулся. За рекой орал его брат по хватке, сам о родстве не подозревая. Это было полезно знать.

Такого Дарна выгоднее было не давить сразу, а стравить с постепеновцами. Через верную руку пустить одним слух, будто кроткие выдали Дарновых на дознание; самому Дарну — будто

постепеновцы метят на его место и надеются выслужиться перед Двором. Пусть рвут друг друга за рекой, а Двор считает, у кого останется меньше людей. Замысел ещё требовал проверки имён и подходящего гонца, но рычаг Герс запомнил.

И тут же, следом, накатило другое.

Он подумал не о понятном Дарне, желавшем писать своё, а о безымянном, который хотел сжечь саму книгу.

И впервые за ночь Герсу стало холодно. Не за место. По-настоящему.

Если сгорит Свод, нечего будет наследовать: ни Печати, ни полей для выносок, ни места, к которому Герс крался все эти ночи. Что плести и чем торговать, если исчезнет сама книга? Мундир, пуговицы, тетрадь слабостей, даже его хватка имели цену лишь пока существовала строка, куда можно вписать долг и откуда можно вымарать имя. Без книги рукояти оставались, но тянуть ими было нечего.

Герс прикинул сжигателя к обычному счёту: чем дышит, у кого в долгу, чего хочет, чтобы взять его этим желанием. Марна держало сало, Ренка — сын, Сурна — сивуха, Кеса — Печать и тайная жалость. У безымянного не находилось рукояти. Приноса он не брал; места не хотел; даже к самой Печати, вернейшей цене для упорных, не тянулся. Герс перебрал возможное одно за другим, но всякий захват соскальзывал. Человек без долга и без желания не укладывался в серую тетрадь. Герс таких не встречал и не знал, как взять. Холод он терпел с детства; незнания не терпел.

Всю ночь Герс желал, чтобы старик дрогнул и выпустил чехол; теперь поймал себя на обратном: хотел, чтобы тот устоял. Не ради Кеса и не ради безбумажных, которые утонут без спасательной ведомости, — ради Печати и книги под ней. Без Свода Герс снова становился ничем: серым отработком без строки, одним из мелких под сушильным навесом.

Мысль обожгла. Он сам вернул себе прежнее место и на миг ощутил себя без мундира, снова вписанным в долговой реестр.

И за этой мыслью, нежданно, как поднявшийся со дна пузырь, всплыла сушильня и чужая зарубка — Титова, увиденная Герсом из соседнего ряда.

Низкий навес, провисший от торфяной пыли; под ним даже днём темно и сыро. Ряды чёрных брикетов на жердях, и малой носит их от станка по два, по три, прижав к животу. Пальцы стынут до бесчувствия, сжимают сильнее нужного, брикет крошится прямо в ладони. Старший по сушильне Кулак вслух считал выход и всегда недосчитывался; недостачу раскладывал на носильщиков долгом, против имени. В тот день пропало сорок брикетов, и Кулак свёл всё на малого Тита — десятилетнего, самого лёгкого и бессловесного, а потому удобного. Вычеркнуть долг было нечем: перо держали за рекой люди в мундирах с костяными пуговицами, для которых он был не Титом, а недовесом, который надо на кого-нибудь свести.

Малой Тит не заплакал и не стал просить. Он считал: сколько брикетов унёс, сколько раскрошилось — от силы пять, — сколько Кулак недовесил казне сам и свалил на него. Считал, сколько лет платить сорок брикетов по полушке и сколько нового долга успеет нарасти за это время. Тогда он понял: долг не в торфе, а в том, чья рука держит перо над описью. Плачет тот, у кого нет строки; тот, у кого строка, пишет. С того дня малой хотел уже не прощения сорока брикетов, а пера — не вычёркивать свой долг, а вписывать чужие.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.